

Адольф АРЦИШЕВСКИЙ

КЛАРА. И НЕМНОГО О ДОМБРОВСКОМ

КЛАРА

Его стихи не умещались в прокрустово ложе моих представлений о поэзии. А он ведь знал поэзию на сотни метров вглубь, он был взращён серебряным веком. Гумилёвым, Блоком, Ходасевичем. Ему была понятна инструментовка стихов Пастернака, Мандельштама, Ахматовой. Но их в преддверии стихов Домбровского как бы и не было, а был такой нечеловеческий, смертельный опыт жизни, которого даже у них, великих, не было. Опыт, при мысли о котором судорожно сжимается вся моя плоть. И я чувствую неодолимый укор за



Юрий Домбровский и Клара Турумова

собственную жизнь, за тот просто младенческий опыт бытия, который выпал на мою долю и с которым я посмел сунуться в литературу. Но ведь и не мог иначе.

Они с моим отцом работали в кафедральном соборе, там был музей. И рассуждали о высоком. И от безнадёги пили водку. Мне было три месяца от роду, мы жили тут же, в музее, в комнате святых даров. Отец расписывал стены собора динозаврами, мамонтами и первобытными людьми в звериных шкурах и с каменными топорами. А Домбровский был научным сотрудником. Длилось это около года. Потом Домбровского загребли гэбисты. А отец ещё кантовался какое-то время, но и он понадобился органам. Его определили в польские шпионы, и он исчез из моей жизни навсегда. Впрочем, он исчез навсегда и из собственной жизни. Что же им ставилось в вину? А у них фамилии кончались на «ский», мало, что ли, этого! Десять лет спустя Домбровского взяли уже как космополита, он имел неосторожность высказаться одобрительно о Хемингуэе. Он вообще имел неосторожность, это было нормой его жизни.

Но я не о нём, я о Кларе. В ней, очевидно, была потаённая и несокрушимая энергия женской беззащитности, которая настоящего мужика обезоруживает напрочь, разит наповал. Редкое качество, сама женщина едва ли его сознает. Я в общем-то сужу по результату. Вот я думаю, должно же будущее ложиться отблеском на облик человека, придавая до поры до времени загадку, которую он в себе несёт. В ней было тревожащее нечто, которое мы чувствовали, но не понимали. А она послушно несла в себе таинство, наверное, тоже не зная о нём. Можно лишь догадываться о тех сокрушительных откровениях с ближайшими подругами, когда грянула её встреча с Домбровским. Там разница в возрасте была в 30 лет. Господи! Я был старше Клары на год-полтора, и уже это создавало между нами некую возрастную дистанцию. Но он-то, он, Домбровский, был старше её даже не на поколение, а на тысячелетие, если брать в расчёт его духовную оснастку и масштаб, и жуткий жизненный опыт. Но мы этого тогда осознавать не могли и не хотели.

Господи, как же мы должны ей быть благодарны, что она не испугалась его внешней расхристанности, раздрая в его душе и жизни. Нашла в себе силы поверить ему, откликнуться на зов его измученной плоти, истерзанного серд-

ца, сумела по-бабьи отогреть его, внести гармонию и стройность в его мироздание, дать толику того земного пронзительного тихого тепла, без которого жизнь обесценивается. Сейчас, по прошествии стольких лет, трудно воспринимать её теми студенческими мерками, сейчас понимаешь, каково ей было рядом с этим Везувием, рядом с этим сооружением, подобным Парфенону, Колизею и Стене плача в одном флаконе, в одном брэнном теле. А чисто по-житейски она должна была на равных принять все его беды, печали, радости, недуги. Уму непостижимо, как выдержали это её хрупкая плоть, её девчоночье сердце.

То, о чём я пишу, было ещё до рождения Клары. Он, как научный сотрудник, должно быть, царил в том соборе, соединяя своим «я» эпохи и тысячелетия. И не мог он не наведываться в тот закуток, где мы жили в соборе, в комнату святых даров. Ну, по крайней мере, с заветной чекушкой, которую надо было «раздавить» незамедлительно. От переизбытка жизни, бушующей в организме, от томления духовной жаждой, да и физической тоже. И пока отец среди тюбиков, банок с кистями и красками выискивал стаканы, а я, сколько мне тогда было – три, четыре, пять месяцев, в обрамлении пелёнок судорожно, как все младенцы, перебирал своими ручонками доступное мне близлежащее пространство, Домбровский просто не мог не обратить на меня внимания, не протянуть своей руки к этой копошащейся козявке и не произнести что-то совсем не научное, типа «тю-тю!». А я, конечно же, ликующе схватил его за палец, то было первое моё тактильное соприкосновение с этим удивительным человеком.

А дальше было рукопожатие, но это через тридцать лет, уже после всех его тюрем и ссылок, как раз когда начался их с Klarой роман. Я спускался вниз от Оперного театра, и близ «жургуновки» навстречу мне идут под руку Клара с Домбровским.

– Знакомьтесь, – сказала Клара. – Юрий Осипович.

И мы обменялись рукопожатием. Мне навсегда запомнилась его большая и глубокая в своей безмерности ладонь, в которую он вобрал не только мою оказавшуюся полудетской ладошку, но и как бы всего меня, всю мою предшествующую и грядущую жизнь. Осталась в памяти та самая безмерность соприкосновения, хотя всё это я осознал много позже. Но я был тогда преступно невнимателен к этому событию, я был самонадеянно увлечён самим собою. Хотя ведь это было плюс ко всему невольное соприкосновение с канувшим в лету мироощущением отца, с которым они мыкали свою обыденную жизнь, в ней правил бал кремлёвский горец, по которому и теперь тоскует часть народа. И водка, злодейка с наклепкой, закупоренная картонной пробкой и коричневым сургучом, давала им подобие духовной свободы, без которой им трудно было жить.

И ещё меня тогда поразила, судя по впалым щекам и губам, его беззубость, жевательный аппарат был выбит цингой и доблестными рыцарями правопорядка на неизбежных этапах судьбы, выпавшей ему на долю. Зубы ему выбили, а мозги вышибить не смогли, и душа его, как её ни мордовали, осталась целёхонька. Вообще он надул гэбистов. Они его, доходягу, сактировали на Колыме, списали, отправили на волю подыхать. А он выжил. И написал романы, делающие честь литературе. Написал о страшной правде, о токах сверхвысокого напряжения, которыми его пытали. Но там нет озлобленности. Он казнил эту нежить своим невероятным жизнелюбием. И своим талантом. Уничтожить талант было не по их части.

Наверное, Клара была тем бонусом, который он заслужил своей выносливостью, стойкостью и верностью самому себе. С ней он пережил то, что мы называем простым человеческим счастьем, которое не каждому дано. А рукопожатие, которым мы обменялись, я воспринял по-обывательски иронично, хотя то был редкий знак судьбы, который я в силу своей эгоистичной молодости не распоз-

нал. И, кстати, то была редкая возможность хотя бы что-то узнать о моём отце, но я этой возможностью воспользоваться не сумел.

Клара... Мы с ней, кажется, и впрямь словечком не обмолвились. Хотя нет, я призывал её на помощь в минуту, непростую для меня. Когда мой романтический внук из Самары... О, об этом надо рассказывать особо, и я всенепременно расскажу в свой час. Ну, обронил мой младший сын это дитё по молодости лет, занимаясь ремеслом зелёным. Обронил, даже не зная об этом. Мы с женой, узнав, что такой мальчик живёт и здоровует, что ему уже три годика, были несказанно счастливы и обогрели его с его мамой, приветили, насколько это позволено расстание меж Алматы и Самарой и насколько у нас хватило сил. Во всяком случае, в последний свой приезд к нам он, расставаясь с нами, вдруг остановился посреди нашей квартиры и сказал:

– Как у вас хорошо.

И, глядя в пространство:

– Я был здесь счастливым.

Так вот, когда он окончил школу там, в Самаре, и встал вопрос, куда пойти учиться дальше, он возжелал поступить в МГУ или в Московский политех, но там надо было найти жильё. И мы с Кларой активно созванивались, она очень хотела мне, то есть моему внуку, помочь, но что-то у нас не срослось и не сладилось. А не слабо ли ему поступить в Самарский политех, сказала как-то Клара, там готовят специалистов ничуть не хуже, чем в Москве. На том и порешили. И он окончил вуз в Самаре, окончил очень даже успешно, и сейчас, по-моему, преуспевает в жизни, хотя теперь уже мы ему не нужны, но мы его всё так же любим. А задолго до этого, теперь я вспомнил, был скорбный момент, когда я соучаствовал в жизни Клары. Умерла её мама, директор одной из школ Алматы, и я, волею судьбы, участвовал в её похоронах. А хоронили из Совминовской больницы. И мне пришлось с кем-то из парней, не помню с кем, переложить тело усопшей с покойницей каталки в гроб. Я держал тело за ступни ног, и в тот краткий миг, пока мы перемещали его с каталки в домовину, я ощутил упругость тела умершей, меня это не могло не поразить.

Я очень отзывчив на скорбь других, и у меня в горле стоял горестный комок, но скорби своей волю давать было нельзя, там надо было свои силёнки перенаправить Кларе, чтобы поддержать её, помочь ей устоять и жить дальше. Прости меня, Клара, за эту скорбную ноту, но она отчего-то ожила и не забывается, живёт в закоулках моей души. Когда в Алматы отмечали 110-летие Домбровского, отмечали в библиотеке имени Бегалина, это на углу Комсомольской и Ленина, то бишь Достык и Толе би, приезжала из Москвы Клара, был Олжас. Мне очень хотелось прийти, но не смог. Не хватило силёнок после операции на сердце.

Это была последняя возможность повидаться с Кларой. Вскоре её не стало.

КОГДА МЕНЯ ОТПРАВЯТ ПОД АРЕСТ...

Когда жестокий приговор удалит меня, не допуская никого взять меня на поруки, – моя жизнь будет находиться в этих стихах. Ты в них снова и снова увидишь то главное, что было посвящено тебе. Земля может забрать себе лишь мой прах, принадлежащий ей. Но дух мой – он у тебя. А это моя лучшая часть. Поэтому ты утратишь лишь подонки жизни, добычу червей, мой труп, жертву подлого ножа труса, слишком жалкую, чтобы её вспоминать. Единственно драгоценным было то, что содержалось во мне. И вот оно – с тобой.

Вильям Шекспир. Сонет 74
(подстрочный перевод Юрия Домбровского)

На первый взгляд стихи Домбровского могут показаться экзотикой. Прозаик он первостатейный. Помнится, лет шестьдесят назад, прочитав небольшой фрагмент его прозы – то ли в сборнике «Факел», то ли даже в «Казправде», я испытал чувство полётности. Там не было стилистических изысков, метафор и прочего, что может поразить воображение. И предмет описания был вполне себе заурядный – алматинский базар, ряды с овощами и фруктами. Но всё это было желанно и зримо, ты чувствовал запахи, звуки, ты осязал кожицу фруктов и пуырчатость овощей. И всё это как бы поверх слов, слова исчезали, сквозь типографскую бумагу проступала сама жизнь, её ликующая трепетная плоть.

Но речь не о прозе Домбровского, речь о его стихах, помещённых в книжке с очень даже поэтическим названием – «Меня убить хотели эти суки». Вы можете взять её в руки даже с предубеждением, но стоит пробежать глазами несколько строф, и магия строк, магия жгучей жизненной правды вас не оставит. Я читал их подряд и вразброс, читал выборочно, читал по диагонали и въедливо, пытаюсь понять, в чём же их притягательность, пытаюсь понять, зачем они мне. Ведь многие из них – удар хлыстом, удар наотмашь. Удар по сердцу, по обнажённому нерву. Удар неожиданный, но отчего-то и желанный, как оно и бывает в настоящей поэзии. Причём Домбровский вроде бы и не расставляет акценты, их расставляет наше потрясённое сознание.

Но – к стихам.

Понимаете, есть инерция мысли и стиля, и есть система координат, в которой автор размещает текст. Тут сбой недопустим, он режет слух, он неуместен. А Домбровский непонятным образом в мгновение ока умеет переключать строку из одной стилистической стихии в другую, совершенно противоположную, добиваясь при всём при том неожиданной, редкой органики.

Ну вот смотрите, стоит нам прочесть:

Выхожу один я...

Естественно, дальше с неизбежностью должно последовать – что? Нечто вроде: «Спит земля в сиянье голубом»... Тут весь наш речестрой взыскует духовных высот.

Так нет же, нет! Одно лишь слово лишает нас привычной сферы обитания, и мы мгновенно оказываемся в среде, чуждой нам, враждебной всему высокому и святому, к чему всегда зывал нас лермонтовский стих.

Выхожу один я из барака...

И всё, мы лишены привычных координат, «спит земля в сиянье голубом» с бараком не совместимо. Совместимо оно с почти издевательским:

Светит месяц, жёлтый как собака...

Впрочем, здесь как бы умыленная несостыковка, начиная с названия. «Мария Рильке» – и тюремные нары. Тюремные нары и – профессор из Берлина. Профессор из Берлина, тонкий ценитель поэзии – и он же по совместительству водовоз и очень неискусный дровосек. Здесь как бы расшифровка послания из Серебряного века другого гулаговца – «мне на плечи кидается вековолкодав» и зримая, как сквозная рана, иллюстрация к посланию. Но даже в этих собачьих условиях человек высокой духовности находит в себе силы оставаться человеком. И строка из Райнера Марии Рильке органично вплетается в его мироздание. Окоченевшая душа не молчит.

Чем могу ответить человеку

Я, делящий с ним огонь и тьму?

И как отзвук финала Шестой симфонии Чайковского:

Мёртвых звёзд рассеянное тело –

Вот итог судьбы твоей, моей...

Но даже на промозглых нарах, на краю казалось бы погибели Домбровский находит в себе силы сказать почти невозможное и вернуться ко вселенной Лермонтова во всей её первозданности:

*Светлая, широкая дорога –
Путь, который каждому открыт.
Что ж мы ждём? Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.*

Ликующий, почти рахманиновский пассаж, но – и боль несусветная.

И всё же, всё же... Чем глубже я внедрялся в эти стихи, тем явственнее было сомнение. Зачем они мне? Эти стихи не дают утешения, они заносят душу. Но, соприкоснувшись с ними, отринуть их невозможно. Они обостряют зрение там, где лучше бы не видеть. И слух они обостряют там, где звуки надрывают сердце. Но я не знаю, как и почему вся лагерная жуть в стихах Домбровского, выворачивая душу, заставляет любить и любить с обновлённой неистовой силой эту горестную, брэнную, хрупкую и неизбежную жизнь.

И ещё из ощущений читающего человека. Вот эта редко встречающаяся полётность слова в стихах и прозе, когда как бы не ощущаешь ни слов, ни процесса чтения как такового, и вовлечённость читателя в полёт, когда страница летит за страницей... Что может быть желанней этого? А главное – фантастическое, неиссякаемое жизнелюбие, которому противостоять невозможно, да и нужно ли противостоять? Парадоксальная мысль: если язык и стиль Платонова, к примеру, призваны направить ощущения человека в незнаемое доселе русло, то Домбровский как бы возвращает нам привычный и желанный нам оптимизм повседневного бытия.

При всём при этом он не миндальничает с читающим. Порой это чтение, задающее работу ищущему истину, пытливому уму. Иногда мне приходилось по два-три раза вчитываться в строфу. Но это не было в тягость. Непонятые строки притягивали как магнит, напрягая интеллект, заставляя его быть прощательнее.

Конечно, в большинстве случаев это стихи, смысл и энергетика которых безусловны. Как, например, «Каменный топор» – мини-цикл или, если хотите, поэтическое эссе из четырех разноразмерных фрагментов. Напомним: Домбровский был научным сотрудником Республиканского историко-краеведческого музея Алматы, что размещался в Кафедральном соборе. Запало в память: меня, трёхлетнего несмышлёныша, бабушка завела в этот музей. Не с просветительской целью, а чтобы я увидел росписи стен собора. Там, поверх ликов святых, моему отцу, а он был художником, велено было малевать наглядные картинки, как человек от пещерного образа жизни, одолевая тьму веков, шёл к свету наших дней. На человеке была звериная шкура, в руках – каменный топор, а по его следу крался саблезубый тигр, и в стороне стоял как соглядатай мамонт. Я в страхе прильнул к бабушкиной ноге, представив себе, что здесь должно произойти через мгновение.

Годы позже, прокручивая в памяти этот самодельный диафильм, я видел и отца, малюющего человека, топор, тигра. Я видел, как за спиной отца стоял его сотоварищ по музейной службе Домбровский и подправлял его, и что-то подсказывал. И я уже догадывался, какие мысли, какие сюжеты могут вскипать в неистовом воображении Домбровского. Какие там были сдвиги времен, пластов истории и философских понятий. Под стихотворением стоит дата – 1939. Всё совпадает, они тогда с моим отцом работали в музее вместе. Топор-то каменный, но весь этот вроде бы лубочный сюжет изваян Домбровским с поразительной филигранностью.

*Был мамонт стар, но видел он впервой,
Как два комка сцепились в жёлтых травах,
Как тигр ревел и ширил след кровавый,
И в камни упирался головой.*

В стихах Домбровского нет и быть не может ленивых строк. Здесь всё по делу:

*Когда нам принесли бушлат,
И, оторвав на нём подкладку,
Мы отыскиали в нём тетрадку,
Где были списки всех бригад,
Все происшествия в бараке,
Все разговоры, споры, драки,
Всех тех, кого ты продал, гад!*

«Наседка» – это про то, как сокамерники придушили доносчика. Всё за-протоколировано с предельной точностью. И то, что «душил “наседку” старый вор», и то что «у меня дыхание спёрло, когда он, схваченный за горло, вдруг руки тонкие простёр и быстро посмотрел в упор, и выгнулся в предсмертной муке». И даже неожиданная малость, когда после расправы «я рот ему обтёр платком, запачканный в кровавой пене». И, чтобы уж расставить все точки над «i», «потом согнул ему колени, потом укутал с головой: “Лежи спокойно, Бог с тобой!”... Как жаль мне, что не твой заказчик, а ты, замороженный в сугроб, пошёл по правилу влюблённых смерть обнимать в одних кальсонах». Тут, может, рифма и прихрамывает, но зато сочетание «влюблённых – в кальсонах» достойный надмогильный веночек убиенному.

Будучи аборигеном ГУЛАГа, его, так сказать, исконным сидельцем, Домбровский чужд эгоизма осуждённого и пишет не только о сокамерниках, не только о тех, кто за колючей проволокой, но и о тех, кто, так сказать, над проволокой. И вот ведь не без сдержанного оптимизма читаешь стихотворение, название которого, казалось бы, оптимизма напрочь лишено – «Убит при попытке к бегству». Оставляю в стороне снайперски точное описание убийства зека, которое преследует автора даже во сне. Тут в центре внимания другое: как в конвойном, профессионально исполнившем свой долг, убившем зека на этапе и получившем поощрение за это, как в нём вдруг пробуждается ненужная ему и неуместная душа. Да, да! Та самая – «милая душа, как ты сильна под рыжей шкурой зверя!».

*И молча смотрит на меня солдат,
Своей солдатской участи не рад.*

Я далёк от намерения пересказывать содержание этих стихов, хотя оно настолько уникально и неповторимо той обнажённой запредельной правдой, где дышат – нет, не почва и судьба, а – вечность и сама Вселенная.

Мне представляется крайне важным всмотреться пристальнее в стихотворение, название которого вынесено в заголовок книги – «Меня убить хотели эти суки». Оно, быть может, во всей полноте высвечивает жизнь Домбровского. Стихотворение выкроено по лекалам Голливуда. Но это не дикие прерии Запада, это наша родимая Колыма. И бандюганы тоже наши. И его, Домбровского, вобравшего в себя опыт тысячелетней культуры, понуждают вступить в диалог по судьбоносному вопросу: быть ему или не быть? Слова в дипломатии этого уровня тут не проходят. Нужны другие аргументы. И он их находит. Как ни покажется странным, – топорные. В прямом смысле этого слова.

*Меня убить хотели эти суки.
Но я принёс с рабочего двора
Два новых наводстрённых топора.*

*По всем законам лагерной науки
Пришёл, врубил и сел на дровосек...
В общем-то, впечатляет, не правда ли?
Сижу, гляжу на них весёлым волком:
Ну что ж, прошу! Хоть прямо, хоть просёлком.*

Исчерпывающая преамбула для переговоров, не так ли? Но дальше-то, дальше – смотрите, как убедительны его оппоненты:

*– Домбровский, – говорят, –
ты ж умный человек.
Ты здесь один, а нас тут... Посмотри же.
– Не слышу, – говорю, –
пожалуйста, поближе!
Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая.*

Но даже финки не спасут эту кодлу от топора. Его, конечно же, убьют. Но не здесь, не сейчас, много позже. К тому времени он успеет пройти, в сущности, весь жизненный круг. А главное, исполнить то великое предназначение, которое ему даровано судьбой. Он встретит и любовь свою, и книги напишет, которые лежат у нас в изголовье как самое необходимое и заветное.

*Но вернёмся к топорам и финкам.
Как вдруг отходит от толпы Чеграй,
Идёт и колыхается от злобы...*

Поляки говорят, что моя фамилия «Арцишевский» означает «искусный сапожник». Так вот, исходя из этой терминологии, Домбровский был сверхискусным мастером. Смотрите, как лихо он «обул» весь этот эпизод, я даже не говорю о его предшествующем диалоге:

*Он в ноги мне кидается, и тут,
Мгновенно перескакывая через,
Я топором валяю скуластый череп.
И поминайте, как его зовут.*

Ну чем не Голливуд! Или что-то не так?.. И – завершая эпизод:
*Его столкнул, на дровосек сел снова:
– Один дошёл, теперь прошу другого.*
Нет, ну готовый эпизод в кино.

...Когда мы в 1995-м по наущению англичан сооружали на «Казахфильме» первое отечественное «мыло», наш первый телесериал, мы пытались разобраться: чем наш советский человек отличается от голливудского героя? А тем, что каждый из нас всегда помнит: он в мире не один, всегда найдутся добрые люди, которые не оставят в беде, придут на помощь. А голливудский герой – один против всех, один против всего вселенского зла. И он должен это зло одолеть. И он его одолевает. Тут «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» не прокатит. Тут другие критерии, другая система координат. Домбровский к ней приписан, он в ней прописан. Он в ней живет и выживает. Так что сюжет и впрямь вполне себе голливудский.

А дальше происходит то, что ни в какую систему координат не втиснешь. Он, прошедший нечеловеческий опыт выживания, должен вернуться к людям. В нормальную повседневную жизнь. Вернуться не с чистой, незамутнённой душой Маугли, а с опытом зека и лагерника.

*И вот таким я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен...*

А к этому стихотворению я и не знаю, как подступиться. То ли исповедь это, то ли баллада. Но в словах... В словах столько боли, столько беды, такое

надругательство над живой человеческой долей. Голос автора здесь сливается с дыханием персонажа, а персонаж этот – фигура знаковая, неизбежная в лагерной жизни. Солдат на караульной вышке. Но это человек, не изживший в себе человека и в силу молодости взыскующий ласки, ни с чем не сравнимого женского трепета. А речь идёт о девчонке, «моей парижанке, нумерованной каторжанке». «Были яркие стильные туфли, изнасились и краски потухли, на колымских сугробах потухли... Изувечены нежные руки, но вот брови – как царские луки, а над ними, как будто синицы, голубые порхают ресницы».

Да полноте! Домбровский ли это? Увы вам – Домбровский со всем богатством регистров и во всей своей беспощадной глубине:

*Обернётся, посмотрит с улыбкой,
И покажется лагерь ошибкой,
Невозможной фантазией, бредом,
Что одним шизофреникам ведом...*

Читая всё это, глядя на происходящее как бы с караульной вышки, я в какой-то момент словно оглох. Вдруг пришло понимание, что это анализу не подлежит, что я пытаюсь совершить невозможное. Но стихи Домбровского, как рок, как веление, как фильм «Иди и смотри!»:

*Кровь и снег. И на сбившемся снеге,
Труп, согнувшийся в колесо.
Это кто-то убит «при побеге».
Это просто убили – и всё!*

А посреди всего этого – девчонка, безответная как воробышек. У неё украли детство, ей покалечили юность, изуродовали судьбу. Всё просто, как эвклидовы начала:

*И столетья уносит в воронку,
И величья проходят как сны,
Что обидели люди девчонку
И не будут они прощены.*

Вообще-то стихов у Домбровского, тем более лагерных, горстка. И небезупречны они, наверное, с точки зрения формы. Не алмазы они, а если и алмазы, то не самой чистой воды. Но вышли они из такого обжига, из таких сверхвысоких запределных температур, из такого адского пекла, что у самого Данте дыхание сбилось бы, загляни он в это гулаговское горнило. Так что слова и смыслы здесь обретают иной атомарный вес, осмысляя их, порой впадаешь в сумрачное долгое молчание. Соприкоснёшься с этими стихами, и не верится даже, что по-прежнему где-то в невозможной дали есть ещё «шёпот, робкое дыханье, трели соловья». Стихи Домбровского пробирают душу до озноба, занозят сознание, проходят рашпилем по сердцу. В «Факультете» он свёл счёты с системой, сказав сквозь боль, но с убийственным озорством про неё всё-всё, что она заслужила. А в лагерных стихах он во «всю свою звонкую силу поэта» воздал должное тому, что система эта породила. В своих стихах он выставил на обозрение саму суть ГУЛАГа. При этом, анатомируя ГУЛАГ, стихотворец топором работал словно скальпелем.

Я всё пытаюсь найти ту нишу, которая соответствовала бы стихам Домбровского. Серебряный век? Но уважаемая мною учёная дама, доктор филологии, разъявшая стихи как Леонардо человеческое тело, категорически возразила:

– Да у него в стихах сплошная эклектика!

Пусть будет так, хотя Серебряный век неотъемлемый ингредиент в кровеносной системе Домбровского. Его стихи уютно себя чувствуют в компании разве что Алешковского и Галича, но бардовские рамки стихам его тесны, в

них слишком много брутальности и жёсткой правды. Разве что Шаламов мог быть где-то вблизи, но у Шаламова сквозит цепенящая безнадёга, а у Домбровского, сквозь боль и муки, – извините, повторюсь! – запредельное озорство. Домбровский жизнелюб и лучезарен даже в лагерных стихах. И вот я думаю, насколько жизнь наша была бы оскоплена, если бы не Домбровский. Он как жгучая специя, без которой и рюмка-то водки не всласть. Как дегустируешь вино, да что там – первач еще тёпленький! – так хочется всей органолептикой опробовать каждое слово, каждую строчку этих стихов. Ни с чем не сравнимое послевкусие! Но и стихи, и проза Домбровского бьют наотмашь, по сердцу, они совести спать не дадут.

Наверное, чтение Домбровского небезопасно. И дабы душа не ожесточилась, дабы смягчить её соприкосновение с антимирами, откуда извлечены эти стихи, я как-то вдруг ринулся к Фету. Даже не к стихам его, а к «Литературоведческому словарю». И уже один лишь перечень названий книг Фета вернул душе способность к созерцанию и прочим уязвимым, но жизненно важным состояниям, без которых можно ведь потерять живую душу. При этом как навязчивая мошкара, как гнус, прости Господи, свербило голову из Маяковского, он у кого-то это позаимствовал то ли за пятак, то ли за просто так: «Марк Аврелий – не еврей ли?» Но у меня в генетической памяти скандал вокруг «Аз и Я», когда Олжас имел неосторожность сказать, что в исконно русское «Слово» «вросла кипчакская строка». Так что – чур меня чур с Маяковским! Душа благодарно вкушала родниковую свежесть фетовского слога и слова. Одно лишь это вот: «На стоге сена ночью южной» способно насытить кровотоки озоном и вернуть в привычную, желанную и верную систему координат.

Но! Но... Простите мне мою въедливость. Вот чувствую незавершёнку в анализе и никак не могу дойти до сокровенной точки. Повторяю, я вчитывался в стихи Домбровского вновь и вновь, с каким-то мазохизмом проникался болью и мукой, которые пульсируют здесь в каждом слове. Читал и пытался понять: где же истоки этой поэзии? В каких поэтических школах и традициях? Пропускал сквозь свою кровеносную систему их запредельную горечь. И никак не мог нащупать изначальных начал. Быть может, не там ищу? Быть может, они совсем в другой системе координат, вне поэтических сфер? Быть может, истоки их, извините за примитивизм – да, да! – истоки их попросту – тюремные нары и пробирающий до костей мороз на этапе, и полный мрак в душе, когда во всей сермяжной глубине осознаёшь, что значит «небо с овчинку»? Но на тюремных нарах никак не могла угнездиться вольная душа вольного человека. Душа, взыскующая мира во всём его безграничье. И, быть может, предвидя моё смятение, предвидя тупики в моих тщетных исканиях, он сам подытожил их просто и мудро:

*Вот так под глубинным давлением
Отмерших минут и годов
Я делаюсь стихотвореньем –
Летучей пульсацией строк.*

И дата – 1940. То есть эпицентр его пребывания на Колыме. Или, если хотите, самая глухая и безнадёжная пора его жизни.

